

Всеволод Михайлович Гаршин

Ночь



Всеволод Михайлович Гаршин

Ночь

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173163
В.М.Гаршин Красный цветок: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-27370-6*

Аннотация

«Карманные часы, лежавшие на письменном столе, торопливо и однообразно пели две нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонким ухом, а их хозяину, бледному господину, сидевшему перед этим столом, постукивание часов казалось целую песнею...»

Содержание

I	4
II	10
III	16
IV	20
V	23
VI	27

Всеволод Михайлович Гаршин Ночь

I

Карманные часы, лежавшие на письменном столе, торопливо и однообразно пели две нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонким ухом, а их хозяину, бледному господину, сидевшему перед этим столом, постукиванье часов казалось целою песнею.

– Эта песня безотраднa и уныла, – говорил сам с собой бледный человек, – само время напевает ее и, как будто бы в назидание мне, напевает так удивительно однообразно. Три, четыре, десять лет тому назад часы стучали точно так же, как и теперь, и через десять лет будут стучать точно так же... совершенно так же!

И бледный человек бросил на них мутный взгляд и сейчас же отвел глаза туда, куда, ничего не видя, смотрел раньше.

– Под такт их хода прошла вся жизнь с своим кажущимся разнообразием: с горем и радостью, с отчаяньем и восторгом, с ненавистью и любовью. И только теперь, в эту ночь, когда все спит в огромном городе и в огромном доме и когда

нет никаких звуков, кроме биения сердца да постукивания часов, только теперь вижу я, что все эти огорчения, радости, восторги и все случившееся в жизни – все это бестелесные призраки. Одни – за которыми я гонялся, не зная зачем; другие – от которых бегал, не зная почему. Я не знал тогда, что в жизни есть только одно действительно существующее – время. Время, идущее беспощадно ровно, не останавливаясь там, где хотел бы остановиться подольше несчастный, живущий минутою человек, и не прибавляющее шага ни на йоту даже тогда, когда действительность так тяжела, что хотелось бы сделать ее прошедшим сном; время, знающее только одну песню, ту, которую я слышу теперь так мучительно отчетливо.

Он думал это, а часы все стучали и стучали, назойливо повторяя вечную песенку времени. Много напоминала ему эта песня.

– Право, странно. Я знаю, бывает, что какой-нибудь особенный запах, или предмет необыкновенной формы, или резкий мотив вызывают в памяти целую картину из давно пережитого. Я помню: умирал при мне человек; шарманщик-итальянец остановился перед раскрытым окном, и в ту самую минуту, когда больной уже сказал свои последние бессвязные слова и, закинув голову, хрипел в агонии, раздался пошлый мотив из «Марты»:

У девиц

Есть для птиц
Стрелы каленые...

И с тех пор всякий раз, когда мне случается услышать этот мотив, – а я до сих пор слышу его иногда: пошлости долго не умирают, – перед моими глазами тотчас же является измятая подушка и на ней бледное лицо. Когда же я вижу похороны, маленькая шарманка тотчас начинает наигрывать мне на ухо:

У девиц есть для птиц...

Фу, гадость какая!.. Да, о чем, бишь, я начал думать? Вот, вот: отчего часы, к звуку которых, кажется, давно бы пора было привыкнуть, напоминают мне так много? Всю жизнь. «Помни, помни, помни...» Помню! Даже слишком хорошо помню, даже то, что лучше бы не вспоминать. От этих воспоминаний искажается лицо, кулак сжимается и бешено бьет по столу... Вот теперь удар заглушил песню часов, и одно мгновенье я не слышу ее, но только одно мгновенье, после которого снова раздается дерзко, назойливо и упрямо: «Помни, помни, помни...»

– О да, я помню. Мне не нужно напоминать. Вся жизнь – вот она, как на ладони. Есть чем полюбоваться!

Он крикнул это вслух надорванным голосом; ему сжимало горло. Он думал, что видел всю свою жизнь; он вспомнил ряд безобразных и мрачных картин, действующим лицом которых был сам; вспомнил всю грязь своей жизни, перевер-

нул всю грязь своей души, не нашел в ней ни одной чистой и светлой частицы и был уверен, что, кроме грязи, в его душе ничего не осталось.

– Не только не осталось, но никогда ничего и не было, – поправился он.

Слабый, робкий голос откуда-то из далекого уголка его души сказал ему:

– Полно, не было ли?

Он не расслышал этого голоса – или, по крайней мере, сделал перед самим собою вид, что не расслышал его, и продолжал терзать себя.

– Все перебрал я в своей памяти, и кажется мне, что я прав, что остановиться не на чем, некуда поставить ногу, чтобы сделать первый шаг вперед. Куда вперед? Не знаю, но только вон из этого заколдованного круга. В прошлом нет опоры, потому что все ложь, все обман. И лгал и обманывал я сам и самого себя, не оглядываясь. Так обманывает других мошенник, притворяющийся богачом, рассказывающий о своих богатствах, которые где-то «там», «не получены», но которые есть, и занимающий деньги направо и налево. Я всю жизнь должен самому себе. Теперь настал срок расчета – и я банкрот, злостный, заведомый...

Он передумывал эти слова даже с каким-то странным наслаждением. Он как будто бы гордился ими. Он не замечал, что, называя всю свою жизнь обманом и смешивая себя с грязью, он и теперь лгал тою же, худшею в мире ложью, ло-

жью самому себе. Потому что на самом деле он совсем не ценил себя так низко. Пусть кто-нибудь сказал бы ему даже десятую часть того, что он сам наговорил на себя в этот долгий вечер, – и на его лице выступила бы краска не стыда от сознания правды упрека, а гнева. И он сумел бы ответить обидчику, задевшему его гордость, которую теперь он сам, по-видимому, так безжалостно топтал.

Сам ли он? Он дошел до такого состояния, что уже не мог сказать о себе: я сам. В его душе говорили какие-то голоса: говорили они разное, и какой из этих голосов принадлежал именно ему, его «я», он не мог понять. Первый голос его души, самый ясный, бичевал его определенными, даже красивыми фразами. Второй голос, неясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушал первый. «Не казись, – говорил он, – зачем? Лучше обманывай до конца, обмани всех. Сделай из себя для других не то, что ты есть, и будет тебе хорошо». Был еще третий голос, тот самый, что спрашивал: «полно, не было ли?», но этот голос говорил робко и едва слышно. Да он и не старался расслышать его.

– Обмани всех... Сделай из себя не то, что ты есть... Да разве я не старался делать это всю жизнь? Разве я не обманывал, разве не разыгрывал роль из фарса? И разве вышло «хорошо»? Вышло то, что даже теперь я ломаюсь, как актер, даже теперь я не то, что я на самом деле. Правда, разве я знаю, что я такое на самом деле? Я слишком запутался, чтобы знать. Но все равно, я чувствую, что ломаюсь вот

уже несколько часов подряд и говорю себе жалкие слова, которым сам не верю, говорю даже теперь, перед смертью. Да неужели же перед смертью?

– Да, да, да! – прокричал он вслух, каждый раз злобно надавливая кулаком на край стола. – Нужно же, наконец, выбраться из путаницы. Узел завязан так, что не развяжешь: нужно разрубить его. Зачем только было тянуть, надирать себе душу, и без того изорванную в отрепье? Зачем было, раз решившись, сидеть истуканом с восьми часов вечера до сих пор?

И он стал торопливо вытаскивать из бокового кармана шубы револьвер.

II

Он действительно сидел на одном месте с восьми часов вечера до трех ночи.

В семь часов вечера этого последнего дня его жизни он вышел из своей квартиры, нанял извозчика, уселся, сгорбившись, на санях и поехал на другой конец города. Там жил его старый приятель, доктор, который, как он знал, сегодня вместе с женою отправился в театр. Он знал, что не застанет дома хозяев, и ехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ними. Его, наверно, впустят в кабинет, как близкого знакомого, а это только и было нужно.

«Да, наверно, впустят, скажу, что надо написать письмо. Как бы только Дуняша не вздумала торчать при мне в кабинете...»

– Ну, дядя, поезжай скорее! – крикнул он извозчику.

Извозчик, – маленький, с сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цветным шарфом, вылезавшим из очень широкого воротника, и с изжелта-седыми кудрями, выступавшими из-под огромной круглой шапки, – чмокнул, задергал вожжами, еще раз чмокнул и торопливо заговорил разбитым голосом:

– Доставим, батюшка, не сомневайтесь, ваше благородие. Но, но!.. Ишь, баловница! Эка лошадь, прости господи! Но! – Он хлестнул ее кнутом, на что она ответила легким

движением хвоста. – Я и рад угодить, да лошадку-то хозяин дал... просто такая уж... Обижаются господа, что тут будешь делать! А хозяин говорит: ты, говорит, дедушка, стар, так вот тебе и скотинка старая. Ровесники, говорит, будете. А ребята наши смеются. Рады глотки драть; им что? Известно, разве понимают?

– Не понимают? – спросил седок, в это время думавший о том, как бы не впустить Дуняшу в кабинет.

– Не понимают, ваше благородие, не понимают, где им понять! Глупые они, молодые. У нас во дворе один я старик. Разве можно старика забиждать? Я восьмой десяток на свете живу, а они зубы скалят. Двадцать три года солдатом служил. . Известно, глупые... Ну, старая! Застыла!

Он опять хлестнул лошадь кнутом, но так как она не обратила на удар никакого внимания, то прибавил:

– Что с ей сделаешь: тоже уж двадцать первый год, должно, пошел. Ишь, хвостом трясет...

На освещенном циферблате часов, поставленных в одном из окон огромного здания, стрелки показывали половину восьмого.

«Уехали уж, должно быть, – подумал седок про доктора с женой. – А может быть, и нет еще...»

– Дедушка, не гони, пожалуйста! Поезжай потише: мне торопиться некуда.

– Известно, батюшка, некуда, – обрадовался старик. – Так-то лучше, потихоньку. Но, старая!

Ехали некоторое время молча. Потом старик осмелел.

– Ты вот мне что, барин, скажи, – вдруг заговорил он, обернувшись к седоку, причем показал свое сморщенное в кулачок лицо с жиденькой седой бородкой и красными веками, – откуда этакая напасть на человека? Был извозчик у нас, Иваном звали. Молодой, годов ему двадцать пять, а то и меньше. И кто его знает, с чего, с какой такой причины, наложил на себя парень руки?

– Кто? – тихо и хрипло спросил седок.

– Да Иван-то, Иван Сидоров. В извозчиках у нас жил. Веселый был парень и работающий, прямо тебе скажу. То есть вот какой! Ну вот, в понедельник, поужинали мы, легли спать. А Иван не ужинавши лег. Голову, говорит, ломит. Спим это мы, а он ночью встал и ушел. Только что никто этого не видел. Пошли утром закладывать, а он в конюшне на гвозде. Сбрую с гвоздя снял, возле положил – веревку прицепил... Ах ты господи! Так это тогда, словно бы по сердцу. И что этому за причина, чтобы извозчик повесился? Как можно это, чтобы извозчику вешаться! Дивное дело!

– Отчего же? – спросил седок, откашлявшись и дрожащими руками плотнее заворачиваясь в шубу.

– Мыслей этих самых нет у него, у извозчика. Работа тяжелая, трудная: утром, ни свет ни заря, закладывай – да со двора. Известно, мороз, холод. Тут ему только бы в трактире погреться да выручку исправить, чтобы вполне два двадцать пять, да на квартиру – и спи. Тут думать трудно. Вот ваше-

му брату, барину, ну, вам, известно, всякое в голову лезет с пищи с этой.

– С какой такой пищи?

– С хлебов с легких. Потому встанет барин, наденет халат, чайку попьет и давай по комнате ходить. Ходит, а грех-то вокруг. Видал я тоже, знаю. В полку было у нас, в Тенгинском, – на Кавказе служил тогда, – барин был, поручик князь Вихляев; в денщики меня к нему отдали...

– Стой, стой! – вдруг заговорил седок. – Вот сюда, к фонарю. Я тут уж пешком.

– Как угодно; пешком, так пешком. Благодарствуйте, ваше благородие.

Извозчик повернул и исчез в метели, которая разыгрывалась, а седок пошел понурою походкою вперед. Через десять минут, поднявшись в третий этаж средней руки парадной лестницы, он позвонил у двери, обитой зеленым сукном и украшенной медною, ярко отчищенною дощечкою. Бесконечно долго тянулись для него несколько минут, пока не отворились двери. Тупое забытие охватило его; все исчезло: и мучительное прошлое, и болтовня подвыпившего старика, так странно кстати пришедшаяся и заставившая его дойти пешком, и даже намерение, с каким он явился сюда. Перед глазами была только зеленая дверь с черными тесемками, прибитыми бронзовыми гвоздиками, да и во всем мире была только одна она.

– Ах, Алексей Петрович!

Это Дуняша отворила дверь со свечой в руках.

– А барин с барыней сейчас уехали; только-только с лестницы сошли. Как это вы не встретили?

– Уехали? Экая досада, право! – солгал он таким странным голосом, что на лице смотревшей ему в глаза Дуняши выразилось недоумение. – А мне ведь нужно было. Слушайте, Дуняша, я сейчас в кабинет к барину на одну минуту... Можно? – спросил он даже робким голосом. – Я сейчас, только записку... дело такое...

Он убедительно, с просьбой в глазах смотрел на нее, не раздеваясь и не двигаясь с места. Дуняша сконфузилась.

– Да что это вы, Алексей Петрович, разве я когда-нибудь... не в первый раз! – обиженно сказала она. – Пожалуйте.

«В самом деле, зачем все это, зачем я все это говорю? Она идет-таки за мною. Услать нужно. Куда ее ушлешь? Догадается, наверно догадается; даже уж теперь догадалась».

Дуняша ни о чем не догадывалась, хотя была до крайности удивлена странным видом и поведением гостя. Она оставалась одна в целой квартире и была рада побыть хоть пять минут с живым человеком. Поставив свечу на стол, она стала у дверей.

«Уйди ты, уйди, ради бога», – мысленно взывал к ней Алексей Петрович.

Он сел к столу, взял листок бумаги и начал придумывать, что бы написать, чувствуя на себе взгляд Дуняши, который,

как ему казалось, читал его мысли.

«Петр Николаевич, – писал он, останавливаясь после каждого слова, – я был у тебя по очень важному делу, которое..»

– Которое, которое, – шептал он, – а она все стоит и стоит. – Дуняша! Подите, принесите мне стакан воды, – вдруг громко и резко проговорил он.

– Извольте, Алексей Петрович.

Она повернулась и вышла.

Тогда гость поднялся со стула и на цыпочках быстро пошел к дивану, над которым доктор повесил револьвер и саблю, служившие ему в турецком походе. Он ловко и проворно отстегнул клапан кобуры, выхватил из нее револьвер и сунул его в боковой карман шубы, потом достал из мешочка, пришитого к кобуре, несколько патронов и тоже сунул в карман. Через три минуты стакан воды, принесенный Дуняшею, был выпит, недописанное письмо запечатано, и Алексей Петрович ехал домой. «Кончать надо, надо кончать!» – вертелось у него в голове. Но он не стал кончать тотчас же после приезда: войдя в комнату и заперев ее на ключ, он бросился, не раздеваясь, на кресло, увидел фотографическую карточку, книгу, рисунок обоев, услышал тиликанье часов, забытых им на столе, и задумался. И просидел, не шевельнувшись ни одним мускулом, до глубокой ночи, до той минуты, когда мы его застали.

III

Револьвер долго не лез из узкого кармана; потом, когда он лежал уже на столе, оказалось, что все патроны, кроме одного, провалились в маленькую прореху. Алексей Петрович снял шубу и взял было ножик, чтобы распороть карман и вынуть патроны, но опомнился, криво усмехнулся одним концом запекшихся губ и остановился.

– Зачем трудиться? Довольно и одного.

– О да, очень довольно одного этого крохотного кусочка, чтобы исчезло все и навсегда. Весь мир исчезнет: не будет ни сожалений, ни уязвленного самолюбия, ни упрека самому себе, ни людей, ненавидящих и притворяющихся добрыми и простыми, людей, которых видишь насквозь и презираешь и перед которыми все-таки притворяешься любящим и желающим добра. Не будет обмана себя и других, будет правда, вечная правда несуществования.

Он услышал свой голос; он уже не думал, а говорил вслух. И то, что он сказал, показалось ему отвратительным.

– Опять то же... Умираешь, убиваешь себя – и тут нельзя обойтись без разговоров. Для кого, перед кем рисуешься? Перед самим собою. Ах, довольно, довольно, довольно... – повторил он измученным, упавшим голосом и дрожащими руками старался открыть непослушный затвор револьвера.

Затвор послушался, наконец открылся; намазанный са-

лом патрон вошел в отверстие барабана; курок взвелся будто сам собою. Ничто не могло помешать смерти: револьвер был образцовый, офицерский, дверь была заперта, и никто не мог войти.

– Ну-с, Алексей Петрович! – сказал он, крепко сжав рукоятку.

– А письмо? – вдруг мелькнуло в его голове. – Неужели умереть, не оставив ни строчки?

– Зачем, для кого? Ведь все исчезнет, ничего не будет: какое же мне дело...

– Так-то оно так. А все-таки напишу. Неужели не высказаться хоть один раз совершенно свободно, не стесняясь ничем, а главное – собою. Ведь это редкий, очень редкий случай, единственный.

Он положил револьвер, вынул из ящика тетрадку почтовой бумаги и, переменяя несколько перьев, которые не писали, а ломались и портили бумагу, и испортив несколько листов, наконец вывел: «Петербург, 28-го ноября 187*». Потом рука сама побежала по бумаге, выводя слова и фразы, которые он и сам вряд ли понимал тогда.

Он писал, что умирает спокойно, потому что жалеть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которых он любил, – если только он действительно любил кого-нибудь, а не притворялся перед самим собою, что любит, – не в состоянии удержать его жить, потому что «выдохлись». Да и не выдохлись, «нечему было выдохаться», а просто потеряли для

него интерес, раз он понял их. Что он понял и себя, понял, что и в нем, кроме лжи, ничего нет и не было; что если он сделал что-нибудь в своей жизни, то не из желания добра, а из тщеславия; что он не делал злых и нечестных поступков не по неимению злых качеств, а из малодушного страха перед людьми. Что тем не менее он не считает себя хуже «вас, остающихся лгать до конца дней своих», и не просит у них прощения, а умирает с презрением к людям, не меньшим, чем к самому себе. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась в конце письма:

«Прощайте, люди! Прощайте, кровожадные, кривляющиеся обезьяны!»

Нужно было только подписать письмо. Но когда он кончил писать, он почувствовал, что ему жарко; кровь прихлынула к голове и застучала в вспотевших висках. И забыв о револьвере и о том, что, избавившись от жизни, он избавится и от жара, он встал, подошел к окну и отпер форточку. Дымящаяся морозная струя пахнула на него. Снег перестал идти, небо было чисто; на другой стороне улицы ослепительно белый сад, окутанный инеем, сверкал под лунным светом. Несколько звезд смотрело из далекого чистого неба, одна из них была ярче всех и горела красноватым сиянием...

– Арктур, – прошептал Алексей Петрович. – Сколько лет я не видал этого Арктура? Еще в гимназии, когда учился...

Ему не хотелось отвести глаз от звезды. Кто-то быстро прошел по улице, сильно стуча озябшими ногами по плитам

панели и ежась в холодном пальто; карета провизжала колесами по подмерзшему снегу; проехал извозчик с толстым барином, а Алексей Петрович все стоял, как застывший.

– Нужно же! – сказал он себе наконец.

Он пошел к столу. От окна до стола было всего две сажени, но ему казалось, что он шел очень долго. Когда, подойдя, он уже взял револьвер, в открытое окно раздался далекий, но ясный, дрожащий звук колокола.

– Колокол! – сказал Алексей Петрович, удивившись, и, положив револьвер снова на стол, сел в кресло.

IV

– Колокол! – повторил он. – Зачем колокол?

– Благовестят, что ли? На молитву... Церковь... духота... Восковые свечи. Старенький поп, отец Михаил, служит жалобным, надтреснутым голосом; дьячок басит. Хочется спать. В окна едва брезжится рассвет. Отец, стоящий рядом со мной, склоня голову, делает торопливые маленькие кресты; в толпе мужиков и баб сзади нас поминутные земные поклоны... Как давно это было!.. Так давно, что не верится, что это была действительность, что сам когда-то видел, а не прочитал где-нибудь или не слышал от кого-нибудь. Нет, нет, было это все, и тогда было лучше. Да и не только лучше, а хорошо было. Если бы теперь так, не нужно бы ездить за револьвером.

– Кончай! – шепнула ему мысль. Он посмотрел на револьвер и протянул к нему руку, но тотчас же отвел ее назад.

– Струсил? – шепнула ему мысль.

– Нет, не струсил; тут не то. Страшного уж ничего нет. Но колокол – зачем он?

Он взглянул на часы.

– Это к заутрене, должно быть. Пойдут люди в церковь; многим из них станет легче. Так говорят, по крайней мере. Впрочем, помню, и мне легче становилось. Мальчиком был тогда. Потом это прошло, погибло. И легче мне не станови-

лось уж ни от чего. Это правда.

– Правда! Нашлась правда в такую минуту!

А минута казалась неизбежной. Он медленно повернул голову и опять посмотрел на револьвер. Револьвер был большой, казенного образца, системы Смита и Вессона, когда-то вороненый, но теперь побелевший от долгих скитаний в кобуре доктора. Он лежал на столе ручкою к Алексею Петровичу, которому были видны потертое дерево ручки с кольцом для шнурка, кусок барабана с взведенным курком да кончик ствола, глядевший в стену.

– Вон там смерть. Нужно взять, повернуть кругом...

На улице было тихо: никто не ехал и не шел мимо. И из этой тишины издали раздался другой удар колокола; волны звука ворвались в открытое окно и дошли до Алексея Петровича. Они говорили чужим ему языком, но говорили что-то большое, важное и торжественное. Удар раздавался за ударом, и когда колокол прозвучал последний раз и звук, дрожа, разошелся в пространстве, Алексей Петрович точно потерял что-то.

Колокол сделал свое дело: он напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мирка, который его измучил и довел до самоубийства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминания, отрывочные, бессвязные и все как будто совершенно новые для него. В эту ночь он многое уже передумал и многое вспомнил и воображал, что вспомнил всю свою жизнь, что ясно

видел самого себя. Теперь он почувствовал, что в нем есть и другая сторона, та самая, о которой говорил ему робкий голос его души.

V

– Помнишь ли ты себя маленьким ребенком, когда ты жил с отцом в глухой, забытой деревушке? Он был несчастный человек, твой отец, и любил тебя больше всего на свете. Помнишь, как вы сидели вдвоем в долгие зимние вечера, он – за счетами, ты – за книжкой? Сальная свеча горела красным пламенем, понемногу тускнея, пока ты, вооружась щипцами, не снимал с нее нагара. Это было твоею обязанностью, и ты так важно исполнял ее, что отец всякий раз поднимал глаза с большой «хозяйственной» книги и с своей обычной печальной и ласковой улыбкой посматривал на тебя. Ваши глаза встречались.

– Я, папа, вон уж сколько прочитал, – говорил ты и показывал прочитанные страницы, зажав их пальцами.

– Читай, читай, дружок! – одобрял отец и снова погружался в счета.

Он позволял тебе читать все, потому что думал, что только доброе осядет в душе его милого мальчика. И ты читал и читал, ничего не понимая в рассуждениях и ярко, хотя по-своему, по-детски, воспринимая образы.

Да, тогда все казалось тем, как оно казалось. Красное так и было красное, а не отражающее красные лучи. Тогда не было для впечатлений готовых форм – идей, в которые человек выливает все ощущаемое, не заботясь о том, годна ли форма,

не дала ли она трещины. И если любил кого-нибудь, то знал, что любишь; в этом не было сомнений.

Красивое насмешливое лицо взглянуло ему в глаза и исчезло.

– А эта? Тоже любил ее? Нечего сказать, поиграли в чувство довольно. А ведь искренно, казалось, говорил и думал тогда... Мученья сколько было! И когда счастье пришло, оно оказалось вовсе не счастьем, и если бы я тогда в самом деле мог приказывать времени: «подожди, постой, здесь хорошо», то я еще подумал бы – приказывать или нет. А потом, и очень скоро, понадобилось уже гнать время вперед... Да не думать же теперь об этом! Нужно думать о том, что было, а не о том, что казалось.

А было очень немного: только одно детство. И от него-то в памяти остались одни бессвязные клочки, которые Алексей Петрович стал с жадностью собирать.

Помнится ему маленький домик, спальня, в которой он спал против отца. Помнится красный ковер, висевший над отцовской постелью; каждый вечер, засыпая, он смотрел на этот ковер и находил в его причудливых узорах все новые фигуры: цветы, зверей, птиц, человеческие лица. Помнится утро с запахом соломы, которою топили дом. Николай, малый, уже натащил полную переднюю соломы и целыми охапками сует ее в устье печи. Она горит весело и ясно и дымит с приятным, немного резким запахом. Алеша готов был просидеть перед печью целый час, но отец звал его пить чай, по-

сле которого начинался урок. Помнится, как он не понимал десятичных дробей, как отец кипятился и всеми силами старался растолковать ему их.

«Кажется, он и сам знал их тогда не совсем твердо», – подумал Алексей Петрович.

Потом – священная история. Ее Алеша любил больше. Удивительные, огромные и фантастические образы. Каин, потом история Иосифа, цари, войны. Как вороны носили хлеб пророку Илии. И картинка была при этом: сидит Илия на камне с большой книгой, а две птицы летят к нему, держа в носках что-то круглое.

– Папа, смотри: Илье вороны хлеб носили, а наш Ворка сам у нас все тащит.

Ручной ворон с выкрашенными в красную краску носом и лапами – это Николай выдумал – бочком прыгает по спинке дивана и, вытягивая шею, старается стащить со стены блестящую бронзовую рамочку. В этой рамочке миниатюрный акварельный портрет молодого мужчины с приглаженными височками, одетого в темно-зеленый мундир с эполетами, высочайшим красным воротником и крестиком в петлице. Это сам папа двадцать пять лет тому назад.

Ворон и портрет мелькнули и исчезли.

– Потом что ж такое? Потом звезды, вертеп, ясли. Помню, что эти ясли были для меня совершенно новым словом, хотя я знал и раньше ясли в конюшне и на скотном дворе. Эти ясли казались какими-то особенными.

Новый Завет учили не так, как Ветхий, не по толстенькой книжке с картинками. Отец сам рассказывал Алеше о Иисусе Христе и часто прочитывал целые страницы из Евангелия.

– И кто ударит тебя в правую щеку, обрати ему и другую. Понимаешь, Алеша?

И отец начинал долгое объяснение, которого Алеша не слушал. Он вдруг перебивал своего учителя:

– Папа, помнишь, дядя Дмитрий Иванович приезжал? Вот тогда точно так было: он ударил своего Фому в лицо, а Фома стоит; и дядя Дмитрий Иванович его с другой стороны ударил; Фома все стоит. Мне его жалко стало, и я заплакал.

– Да, тогда я заплакал, – проговорил Алексей Петрович, встав с кресла и начиная ходить взад и вперед по комнате, – я тогда заплакал.

Ему стало ужасно жалко этих слез шестилетнего мальчика, жалко того времени, когда он мог плакать оттого, что в его присутствии ударили беззащитного человека.

VI

В окно все летел морозный воздух; клубящийся пар точно выливался в комнату, в которой от него уже стало холодно. Большая низкая лампа с непрозрачным абажуром, стоявшая на письменном столе, горела ясно, но освещала только поверхность стола да часть потолка, образуя на нем дрожащее круглое пятно света; в остальной комнате все было в полумраке. В нем можно было разглядеть шкаф с книгами, большой диван, еще кое-какую мебель, зеркало на стене с отражением светлого письменного стола и высокую фигуру, беспокойно метавшуюся по комнате из одного угла в другой, восемь шагов туда и восемь назад, всякий раз мелькая в зеркале. Иногда Алексей Петрович останавливался у окна; холодный пар лился ему на разгоряченную голову, на открытую шею и грудь. Он дрожал, но не освежался. Он продолжал перебирать отрывочные и бессвязные воспоминания, припоминая сотни мелких подробностей, путался в них и не мог понять, что именно в них общего и важного. Знал он только одно: что до двенадцати лет, когда отец отправил его в гимназию, он жил совершенно иною внутренней жизнью, и помнил, что тогда было лучше.

— Что же тянет тебя туда, в полусознательную жизнь? Что хорошего было в этих детских годах? Одинокий ребенок и одинокий взрослый человек, «немудрящий» человек, как ты

сам называл его после смерти. Ты был прав, он был немудрящий человек. Жизнь скоро и легко исковеркала его, сломав в нем все доброе, чем он запасся в юности; но она не внесла ничего и дурного. И он доживал свой век, бессильный, с бессильной любовью, которую почти всю обратил на тебя...

Алексей Петрович думал об отце и в первый раз после многих лет почувствовал, что любил его, несмотря на всю его немудренность. Ему хотелось бы теперь хоть на минуту перенестись в свое детство, в деревню, в маленький домик и приласкаться к этому забитому человеку, приласкаться просто, по-детски. Захотелось той чистой и простой любви, которую знают только дети да разве очень уж чистые, нетронутые натуры из взрослых.

– Да неужели нельзя вернуть это счастье, эту способность сознавать, что говоришь и думаешь правду? Сколько лет я не испытывал его! Говоришь горячо, как будто искренно, а в душе всегда сидит червяк, который точит и сосет. Червяк этот – мысль: что, дескать, друг мой, не лжешь ли ты все это? Думаешь ли ты на самом деле то, что теперь говоришь?

У Алексея Петровича в голове сложилась еще одна фраза, по-видимому нелепая:

«Думаешь ли ты на самом деле то, что теперь думаешь?»
Она была нелепа, но он ее понял.

– Да, тогда думал именно то, что думал. Любил отца и знал, что любишь. Господи! хоть бы какого-нибудь настоящего, неподдельного чувства, не умирающего внутри мое-

го «я»! Ведь есть же мир! Колокол напомнил мне про него. Когда он прозвучал, я вспомнил церковь, вспомнил толпу, вспомнил огромную человеческую массу, вспомнил настоящую жизнь. Вот куда нужно уйти от себя и вот где нужно любить. И так любить, как любят дети. Как дети... Ведь это сказано вот тут...

Он подошел к столу, выдвинул один из ящиков и начал рыться в нем. Маленькая темно-зеленая книжка, купленная им когда-то на всероссийской выставке за курьезную дешевизну, лежала в уголку. Он с радостью схватил ее. Листки в два узеньких столбца мелкой печати быстро забегали под его пальцами, знакомые слова и фразы воскресали в памяти. Он начал читать с первой страницы и читал все подряд, забыв даже и фразу, из-за которой достал книгу. А фраза эта была давно знакомая и давно забытая. Когда он дошел до нее, она поразила его огромностью содержания, выраженного в восьми словах:

«Если не обратитесь и не будете как дети...»

Ему показалось, что он понял все.

– Знаю ли я, что значат эти слова? Обратиться и сделаться как дитя!.. Это значит не ставить во всем на первое место себя. Вырвать из сердца этого скверного божка, уродца с огромным брюхом, это отвратительное Я, которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съел. Все силы, все время были посвящены на служение тебе. То я кормил тебя, то поклонялся

тебе; хоть ненавидел тебя, а все-таки поклонялся, принося тебе в жертву все хорошее, что мне было дано. И вот доклялся, доклялся, доклялся!..

Он повторял это слово, продолжая ходить по комнате, но уже бессильною походкою, качаясь, опустив голову на дрожавшую рыданиями грудь и не отирая мокрого от слез лица. Ноги отказывались служить ему; он сел, прижавшись в уголок дивана, облокотился на его ручку и, опустив горячую голову на руки, плакал как дитя. И долго тянулся этот упадок сил, но в нем уже не было мученья. Смягчилась накипевшая, деланая злоба; слезы текли, облегчая, и не было стыдно слез; перед всяким, кто бы ни вошел в ту минуту, он не стал бы сдерживать этих слез, уносивших с собой ненависть. Он почувствовал теперь, что не все еще пожрано идиолом, которому он столько лет поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотвержение, что стоит жить для того, чтобы излить этот остаток. Куда, на какое дело – он не знал, да в ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Он вспомнил горе и страдание, какое довелось ему видеть в жизни, настоящее житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда в душе его настанет мир.

– Страшно; не могу я больше жить за свой собственный страх и счет; нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ра-

ди своего «я», все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды, которая есть в мире, что бы я там ни кричал, и которая говорит душе, несмотря на все старания заглушить ее. Да, да! – повторял в страшном волнении Алексей Петрович. – Все это сказано в зеленой книжке, и сказано навсегда и верно. Нужно «отвергнуть себя», убить свое «я», бросить на дорогу...

– Какая же польза тебе, безумный? – шептал голос.

Но другой, когда-то робкий и неслышный, прогремел ему в ответ:

– Молчи! Какая же будет польза ему, если он сам растерзает себя?

Алексей Петрович вскочил на ноги и выпрямился во весь рост. Этот довод привел его в восторг. Такого восторга он никогда еще не испытывал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул горячей, широкой волной, разлился по всем членам, на мгновение согрел и оживил заочеченное несчастное существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло...

.....

Лампа, выгоревшая в долгую ночь, светила все тусклее и тусклее и наконец совсем погасла. Но в комнате уже не было темно: начинался день. Его спокойный серый свет понемногу вливался в комнату и скудно освещал заряженное оружие

и письмо с безумными проклятиями, лежавшее на столе, а посреди комнаты – человеческий труп с мирным и счастливым выражением на бледном лице.

1880 г.